

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

РУСЬ СИБИРСКАЯ, СТОРОНА БАЙКАЛЬСКАЯ*

У М. Горького в романе “Жизнь Клима Самгина” есть такая сцена: “На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, вышла кривобокая старушка, одетая в тёмный ситец, повязанная пёстреньким, заношенным платком, смешная, добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным круглым лицом и улыбчивыми детскими глазами...”

С эстрады полился необыкновенно певучий голос, зазвучали веские старинные слова. Голос был бабий, но нельзя было подумать, что стихи читает старуха. Помимо добротной красоты слов было в этом голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое. Магическая сила, заставившая Самгина оцепенеть... Ему очень хотелось оглянуться, посмотреть, с какими лицами слушают люди кривобокую старушку? Но он не мог оторвать взгляда своего от игры морщин на измятом добром лице, от изумительного блеска детских глаз, которые, красноречиво договаривая каждую строчку стихов, придавали древним словам живой блеск и обаятельный, мягкий звон.

Однообразно помахивая ватной ручкой, похожая на уродливо сшитую из тряпок куклу, старая женщина из Олонецкого края сказывала о том, как мать богатыря Добрыни прощалась с ним, отправляя его в поле на богатырские подвиги. Самгин видел эту дородную мать, слышал её твёрдые слова, за которыми всё-таки слышны были и страх и печаль, видел широкоплечего Добрыню: стоит на коленях и держит меч на вытянутых руках, глядя покорными глазами в лицо матери...”

Сцена эта описана М. Горьким с природы: в 1896 году на Всероссийскую выставку в Нижний Новгород приезжала знаменитая сказительница былин Ирина Андреевна Федосова и имела огромный успех. Спустя ещё полтора и два десятилетия на былины не менее знаменитой исполнительницы с Пинеги М. Д. Кривополеновой собиралось в столицах столько же слушателей, сколько на концерты Шаляпина. Широкий интерес и даже восторг русского общества народным творчеством продолжались к тому времени почти полный век и были сбиты только революцией, да и то ненадолго, и изучение и собирание фольклора не прекратилось и во весь XX век. По справедливости считалось, что уж это-то нам не изменит.

Одновременно шло и пополнение русского языка: все жанры фольклора, сколько их ни есть в малых и больших формах, сказывались и выпевались народным словом. Это даже и не сравнение, не уподобление одного другому, а органическая жизнь языка, закон его существования и функционирования: основное его русло полнится, оживляется и украшается многочисленными притоками местных говоров, “истечением” его огромных словообразующих

* Предисловие к первому тому 20-томного Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири Г. В. Афанасьевой-Медведевой.

площадей и устных поэтических оазисов. И как для экологии природы вредны грязные производства, так и экологию языка загрязняют “фабрики” чужесловия, дурно- и тупословия, против которых вместе с охранительными законами нужна и постоянная расчистка родных истоков.

Чудного, поистине волшебного звучания в XIX веке русский язык достиг благодаря народным речевым кладовым, открывшимся вместе с фольклором. Столь совершенного поэтического “инструмента”, как Пушкин, не было ни до толе, ни после, но явление его счастливо совпало с интересом к крестьянской Руси, которая в своих преданиях и сказаниях из уст в уста накопила такую мудрость и такую поэзию, что только ахай да ахай. Пушкин и сам записывал песни и сказы и подвигал к этому занятию своих друзей литераторов. Без него не было бы бесценного собрания народных песен П. В. Киреевского, положившего начало богатейшей песенной библиотеке (в записях П. В. Шейна, П. Н. Рыбникова, А. И. Соболевского и др.), без него Гоголь не освоил бы столь виртуозно самую музыку русского языка, не дружи с Пушкиным В. И. Даль – как знать, решился бы он на свой гераклов подвиг и смог ли бы собрать столь щедрый урожай, сам-сто или даже сам-двести, с живого великорусского языка в своём бессмертном Толковом словаре! В XIX столетии началось дружное движение из местных таёжек, лесов и гор, с побережий морей и рек всех жанров устного народного творчества, и лучшей частью влившийся в литературный язык, оно своей живостью, яркостью, мудростью и точностью окончательно раскрепостило, усладило и щедро обогатило нашу письменность.

В обильном пиршестве великорусского языка, как за скатертью-самобранкой, с которой чем больше потчешься, тем больше прибывает, участвовали и Тургенев, и Лесков, и Бунин, и Шмелёв; будто на гармошке, растягивая полнозвучные меха, играли на нём Никитин, Кольцов, Есенин. Драматург Островский называл свои пьесы народными поговорками, для своих нравоучительных рассказов их же отыскивал Л. Толстой. Он восхищался: “Что за прелесть народная речь! И картинно, и трогательно, и серьёзно... Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может сказать поэт, мне мил... Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное – язык не позволит”.

... Это преддверие разговора о настоящем словаре, это торжественная похвала в честь простонародного языка, надо полагать, не будут лишними: да, были времена, и не столь далёкие, когда этот могучий источник нашей словесности представлялся неиссякаемым. И что же – прошли былинные?

Двадцатитомный словарь, и сам подобный эпосу по богатству вбранного в себя материала, должен бы, казалось, располагать к оптимизму: какая глыбища! какое безбрежье нетронутого и самородного! И это по следам прежних экспедиций, по торным фольклорным тропам, по которым прошли М. К. Азадовский, и Е. И. Шастина, и В. П. Зиновьев, и Л. Е. Элиасов, и Р. П. Матвеева, и другие до них и после них... Стало быть, источник этот и в самом деле неисчерпаем, и воспроизводство областных говоров в поколениях столь же естественно, как воспроизводство почвы от растительного покрова?

И это так бы и было, когда бы русская деревня оставалась в здравии и если бы оставалась она хотя бы в относительной изоляции от большого, распахнутого всем ветрам и поветриям, теряющего последнюю родовую и культурную индивидуальность мира. Корневище народного языка может быть питательным только в глубинах почвы и в глубинах неповреждённой жизни, а нет их – не будет и корешков у старины, не даст побегов и зачахнет самоцветное слово.

Этот величественный труд под названием “Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири” собирался больше четверти века, и те сотни и сотни деревень, по которым прошла Галина Витальевна Афанасьева-Медведева, тем и привлекали фольклористов, что лежали эти деревни в стороне от набитых дорог, жили теми же занятиями, что и при заселении (охота, рыбалка, пашня), и находились в естественной резервации. Предыдущие 250 лет быт в сибирской таёжной деревне изменили меньше, чем последние 25 лет. Последние 25 лет его, можно сказать, обрушили. По Ангаре, окончательно превращённой в электрическую силу, старые поселения по берегам и островам постигла участь Матёры, ушедшей под воду, по Лене они опустели оттого, что окончательно были оставлены государством – точно отступило оно в

спешке от превосходящей силы какого-то невидимого противника. Не лучше картина по забайкальским тайгам и рекам. С корнем выдраны деревни из земли, торчат одни печища. “Где стол был яств – там гроб стоит”: заросли крапивы по местам семейных гнёзд да в сторонке скорбный погост – вот и всё, что осталось от крепких и полнолюдных обителей.

И впечатление такое от этого словаря, будто говоры его были чудом подхвачены уже на излёте в небытие. Чуть бы замешкаться – и не догнать, не услышать, не записать этот бесценный памятник не одного лишь языка, но и народной жизни в трудах, праздниках, общении, обычаях и верованиях, в претерпении судеб и необычайной духовной силе.

Структурная особенность словаря в том, что заглавное слово, будь то географическое обозначение или диалектная изюминка, не изымается из текста с короткой ссылкой на его применение, а даётся в “работе”, в пространным рассказе, и от этого вместе “со товарищи” украшает и текст, и ярче и богаче становится само, получает полное семантическое, фонетическое и морфологическое значение. Это двойная, даже тройная отдача текста: рассказ оживает, у него появляются интонация, голос, избранное в “предводителе” слово таинственным образом организует его в одно целое информационное и художественное свидетельство жизни.

Словарь этот и есть энциклопедия народной жизни из уст самого народа, сказываемая столь буднично, будто в установлениях своих и законах она естественно, сама собой, соткалась из дружеского расположения друг к другу человека и природы. Вот рассказ-обычай, иллюстрирующий слово “распрета”. Уже само слово вызывает вкусовое ощущение, удовольствие: если есть “запрет”, в просторечии “запрета” – должна быть и “распрета”, только не каждому она даётся. “Вот раньше *запрёту* делали. *Августовская запрёта*. Никто за ягодам не пойдёт, пока не будет *августовской распрёты*, никто. Каждной ягоде был свой бой... Раньше-то – ой! Срок на охоту, раньше строго это было, охотиться да ягоды. Всё в своё время”.

Это с моей родины на Ангаре голос донёсся, из моего детства, когда такие “запреты” и “распреты” почитались законом и на ягоду, и на кедровую шишку, и на зверя, и на рыбу. И законы эти не Думой принимались, не Президентом утверждались, а являлись самим дыханием местного народа, сыновьям правилом взаимоотношений с тайгой и рекой, вышним велением брать у них то и тогда, когда это не нанесёт их “пастбищам” урона. “Ухожье было”, – пояснит в другом месте словарь, имея в виду нравственную опрятность деревенского человеческого мира с миром божьим.

А вот ещё свидетельский голос с моей родины, судьба которой оказалась трагической от государственной “неопрятности”, разом, всего в несколько десятилетий сокрушившей Ангару вместе с её притоками и тайгу вместе с её живностью и сезонными дарами-припасами. “Мы в своём доме жили в *Абáкшиной-то*. Потом-ка там всё затопило. *Счас* там всё сплошь водополье. *Илим-то* весь. ГЭС строили <...>. А *кака брава-то* была, *Абáкшина-то* наша. Она на двух речках стояла. Там *Чóра*, она в *Илим падат*. Вот она там стояла. На угоре на высоким... Народ был хоть и не в достатке, голодный и холодный был, всякий, а было веселé и дружнé было. Народ был дружный. Горе-то одно тогда было. Богатых не было, все ровно жили. А теперь видите?! Ты живёшь хорошо, я живу худо, уже *кака-то* различия есть. Уже *на́розь*. Вот так от. А раньше? Вот у *ей* если есть, у меня нету, я пришла к *ей*, она мне последнее поделит. Как-то вот *дружливый* народ-то был, *со́юзно* жили. *Делилиша*. Последний кусочек поделишь. А теперь чё? Как жить-то будете? А?”

А ведь это психология народа, душа его – тоска по былой общинной жизни, пусть бедной (да и бедность-то надо относить к коллективизации, когда весь уклад хозяйственный был перевёрнут с ног на голову, и к военно-последвоенной тяжкой поре, а до того и после того жили справно) – пусть всё-таки временами бедной, но справедливой, дружной, в обрядах и обычаях красивой, “бравой” среди полноносного природного окружения. Это государственный ум: “Как жить-то будете? А?”

Записи ещё тёплые, сказители ещё не все сошли в могилы, а чудится – огромные сроки миновали, и перед нами новая редакция “Повести временных лет”, чуть прояснившей доисторические события. Всего-то двадцать, тридцать годочков тонким слоем припорошили сибирские просторы, а, окунувшись в это недавнее былое, о котором повествует словарь, трудно отделать-

ся от впечатления, будто вековые заносы погребли то время и то бытие и нет между ними и сегодняшней действительностью никакой родственности. Кто теперь поймёт: “Счас-то рыбы нету, её потопили...” — да ведь это нонсенс, как непременно определит образованный новожитель, а между тем точнее о гибели рыбы в запруженных плотинами сибирских реках не скажешь.

Или того чудней старина: “...К чичасной жизни *рази* приверсташь? Нароботасся, устанешь в плаху, язык *выслупишь*. Но к вечеру ничё, *одыбашь*. На вечерку бежишь (раньше-то народ в *мирьбэ* жил). Или старикам *займовасся*, за заплот зацепишься, на лавочку ли присядешь, потокуешь с *имям* заодня. Я с детства старикох любила. Язык у *их* чудненькай... Любила за *имям* ухаживать, услужить кода. Они люди-то *сызвэшные*, *изжыты*, жалостливы, пожалеют:

— Чё же?! Ты без матери.

Щас-то без *их* неродно. И *жись* кака-то скучна пошла. Народ какой-то всё ненастной... Друг ко дружке редко кто ходит *щас*. Ко мне кода Любава зайдёт, а то всё одна *курюся*. И смерть-то меня не берёт. Никто-то меня не украдёт. Кто ба хоть на игрушки *украу*”.

Вот так бы слушал и слушал, так бы пил и пил из этого глубинного само-таного источника! До чего же звучно и красиво здесь слово, как радужно оно переливается, приближается с другими, чтобы сказать тепло и живо, трепещет крылышками, взлетая в замысловатых формах с каких-то таинственных гнездовий, почти песенно выговаривая душу... Не станем идеализировать: срывались и у моего земляка выражения за пределами словаря, не без того, но позволял он себе это только как бы на заднем дворе бытия, зная место и время, даже и в этом грехе отличаясь сдержанностью. Утверждаю это со знанием дела: побывал и на великих стройках коммунизма, и в гостиных столичной интеллигентной элиты. Никакого сравнения.

Что касается суеверий и языческих текстов (а их в словаре немало) — так это не мировоззрение и не вера сибиряков XX века, а дань былому мировоззрению, устная фольклорная традиция, из которой слова не выкинешь. У каждой реки есть старицы, отставленные в сторонку места прежних ходов и русел; обыкновенно они отдаются царству мифических существ. Подобные же духовные “старицы” сохраняются и в народе: жизнь и вера пошли своим путём, но в неизменном окружении природной обители, вместе с уцелевшими неизменными приёмами труда и быта остаются в памяти и старинные, мхом поросшие предания.

А без них свод полносушной жизни был бы и не полон. Повторю: словарь этот именно свод, энциклопедия, житие и сказание сибирских окраин, которые Г. В. Афанасьева-Медведева объединила в Байкальскую Сибирь. Славное, достойное нашего поколения житие и вдохновенное, из уст этого жития, многоголосое сказание.

И богатырский подвиг Галины Афанасьевой-Медведевой, подобного которому после XIX века, кажется, не бывало. А по мере трудничества, по объёмам и размаху старательства на “золотоносных” сибирских землях, вероятно, и сравнить не с чем.